

БОГДАН

Памяти Богдана Ивановича Сагатова (Леонида Богданова). 1918—1961.

Уже дед был актером. Как бросил хозяиновать в своем маленьком имении, заложенном и перезаложенном во имя украинского театра, так и пошел в актеры. Имение было продано, деньги ушли на тот же театр — и на кочевую, беспокойную жизнь тогда еще не украинского, а малороссийского актера. Было в деде какое-то гармоническое смещение устоявшегося мелкопоместного быта панков Киевщины, разгула киевских бурсаков и драматического надрыва и лирики лишенных оседлости артистов украинских трупп. То с задумчивой слезой, то с крутым хохлацким юмором любил помянуть дед Саксаганского и Карпенко-Карого, Заньковецкую и Кропивницкого, с которыми протекла его молодость, с которыми изъездил он всю Россию — от Бендер до Владивостока, от Армавира до Архангельска. До стадвухлетнего возраста не оставлял дед сцены, переиграв буквально все роли ходового репертуара — и решительно во всех амплуа — от героя-любовника до благородного отца и резонера. А здоровьем небо деда не обделило: уже девяноста двух лет он женился в третий раз — и женился на тридцатипятилетней: бросила она старика только когда ему стукнуло сто один. И до конца дед оставался все таким же сухопарым, но крепкокостным и мускулистым, с пышными свисающими серебряными усами и густой гривой седых волос, подвижным и любившим повеселиться. Вот уже скоро и спектакль, а деда на репетициях нет как нет. Правда,

все свои роли он знал наизусть — за десятки лет своего служения украинским Мельпомене и Талии он их выучил насквозь и даже глубже, — но все-таки отца, перенявшего лет с тридцать назад дедову антрепризу, отсутствие старика в театре не могло не беспокоить. Неровен час — ведь лета-то какие. А дед, по обыкновению, заваялся в цыганский табор, в соседний город на ярмарку или просто загулял во-всю — на недельку-другую. Но к спектаклю всегда бывал на месте, хотя и не всегда вполне трезвым. И о том — где он был и чем забавлялся — ни гу-гу. Сидит, бывало, дед за столом и неопределенно вертит пальцами.

— Что-нибудь не так? Невкусно? — недовольно спросит его невестка, Богданова мать. И продолжает начатый разговор об очередном спектакле: ведь все в семье были актерами.

— И это ты называешь чаем?! — возмущенно отвечает дед: — Да это же не чай — пареный веник. Вот на соседней улице у Ахтырина чай — вот то — чай! Постой, я сейчас принесу...

Дед срывается с места, нахлобучивает шляпу — и только его и видали. Нет его неделю, не показывается он и на другую неделю. Стороной узнается, что загулял дед на соседней ярмарке. Но через десять-пятнадцать дней он появляется, как ни в чем ни бывало, хмуро протягивает жене или невестке восьмушку чая, буркнув: — Завари-ка вот этого... Это не твоя бурда...

Ох, сколько было возни отцу с актерами! Труппа состояла из деда — благородного отца и комического старика, отца — на первые характерные роли, матери — сперва — лирической героини на роли дивчин, а потом — героини на более пожилые роли, двух-трех актеров и певцов первого плана, двух актрис первого тоже плана, да десятка хористов, из которых несколько могли исполнять и роли второго и третьего плана. Прибавьте к этому нескольких евреев-скрипачей и дирижера — маэстро Могилевского, — вот вам и труппа.

Духовиков нанимали — по надобности — на месте, главным образом, из оркестров местных пожарных команд. Скрипачей брали только евреев: — играют со слезой, душевно инструмент используют. Да и все местные песни наизусть знают: с ними легче. Зато сущая мука была с «первыми сюжетами». Приезжаешь в какой-нибудь город. И сразу начинается:

— Как? Грицку Колесниченко номер снят в «Гранд-отеле», а мне, мне — Панасу Крутяку, — в какой-то второразрядной «Европейской»?! Да я у Карпенко-Карого играл! Да меня хоть сейчас сам Саксаганский с руками оторвет! Ухожу! Не буду играть!

А Колесниченко тоже лезет в бутылку: — Что это? Мне, герою, да еще тенору, комната без ванны? Да я не то что к Саксаганскому, — да меня Харьковская опера сразу возьмет...

Вот и улаживай, улаживай, утешай впавших в истерику актрис. А вечером герой-тенор на спектакль — первый спектакль в городе! — является вдрызг пьяным. Вот тебе и «Ой, не ходи Грицю тай на вечерницы»... Но актер был, что говорить, с огромным обаянием, опытом и сноровкой. Выпихнут его из-за кулис на сцену, он еле на ногах стоит, прямо валится — и что-то мычит да глазами карими поводит. Суфлер даже уж и не старается: все равно бесполезно. А публика от восторга ревет: до чего ж, мол, натурально человек скорбь изображает — и не хочешь, а слеза прошибет. Играл, подлец, прямо талантливо. И с таким душевыворотом и надрывом, что прямо редко увидишь. А уж как запоет, так все с ума сходили. А студентки и молодые бабенки следом ходили за ним стаями — ну, прямо собачья свадьба.

Самые примитивные декорации, инвентарь, чуть лучше костюмы. Но и после революции — все тот же мелодраматический репертуар — безо всякой идеологии, — все те же за душу хватающие песни, лихая огневая пляска, самозабвенная игра артистов. А деко-

рации — да как их заведешь, когда сегодня играешь в Самаре, через неделю в Ростове, а через месяц во Владивостоке! А публика переполняла кочевой театр, неистовствовала в «Гайдамаках», «Наталке Полтавке» или «За двома зайцами». И мальчик Богдан стоял в кулисах, впитывая в себя сызмалу и гопак и рыдание на сцене, и всю пеструю актерскую жизнь, когда не знаешь, где больше театральщины: в быту или на сцене . . .

Через всю Россию, нигде долго не останавливаясь. И только после НЭПа не стало мочи: антреприза стала такой обузой, что надо было оседать, поступать в какой-нибудь государственный стационарный театр. А то только и оглядывайся, как бы братья-актеры не обвинили: — Эксплуататор! Кулак! Капиталист! — И доказывай потом, что у капиталиста в одном кармане вошь на аркане, а в другом . . . Да ну их к ляду! И сын подрастает — пора подумать о школе . . .

Но школа в Одессе конца двадцатых годов была . . . И всюду она тогда, впрочем, была такой же или почти такой. Да и не до нее было. Надвигался голод. Дети промышляли где и чем могли. Чуть ли ни основной мыслью было: где бы достать чего пожевать. А потом и вовсе стало круто. В тридцать третьем падали и умирали на улицах городов. Вымирали целые села. Но голод не убил любопытства и жадности к чтению. После полуавантюрного дня — не до ученья, когда и учителя, и ученики еле ноги таскали! — дня, посвященного чаще всего полубесполезному рысканью за какой-нибудь пищей, — вечером экспедиция через чердачное окно в верхний этаж соседнего дома: там помещался клуб металлистов, была при клубе большая библиотека. Клуб закрыли или перевели в какое-то другое помещение, старое помещение забрали под какие-то иные нужды, книги все выворотили из шкафов и сгрудили на верхнем этаже, дом заколотили — и пока что позабыли — зачем же его и для чего освобождали? Ну, а Богдан повадился выуживать из книжных завалов самые увлека-

тельнейшие книги: поковырявшись в куче Марксов и Сталиных, отпихнув ногой тысячи томов Ленина и всяческих диаматов, усесться на книжной куче и выворачивать из нее русских и иностранных классиков, приключенческие романы, томы Дюма и Стивенсона... А затем с торжеством, когда совсем стемнеет, тащить целые оберемки книг домой...

Но жизнь актера и в стационарных театрах непостоянна. Сегодня — Одесса, завтра — Киев или Днепрпетровск. Так незаметно подходит и юность, а там, гляди, Богдан, кочующий с родителями из города в город, уже и студент Политехнического. Техника никогда не была чужда ему, но больше влечет сама жизнь, литература, театр. Сказывается наследственность, да и сам Богдан одарен сильным чувством сцены и природными данными для театра: высокий, плечистый, с правильными чертами лица, ловкий и подвижной.

В парашютном отряде, в котором Богдан к середине войны стал командиром, эта артистичность и подвижность сыграли хорошую службу. В глубоком тылу у немцев, выдавая себя то за польских мещан, то за белорусских землеробов, отряд Богдана наносит мелкие, но чувствительные удары частям Вермахта. Взрываются мосты, разрушается полотно железной дороги, навалом тяжелых лесин перегораживаются шоссе.

И однажды на большую землю посылается весть: командир отряда, Богдан, погиб смертью храбрых при исполнении боевого задания. Часть отряда уцелела, сосалась по лесам, а Богдан был поднят немцами. Только железный организм мог выдержать: выбит глаз, повреждена грудная клетка, сломаны ребра.

Но через короткое время Богдан — офицер РОА. Переход во Власовскую армию был совершенно естественным: таким же естественным, как у сотен тысяч таких же советских солдат и офицеров: ну, с немцами потом справимся, да они-то уже при последнем издыхании, а нам надо подрататься за вольную Россию! А Бог-

дан-то слишком хорошо знал советскую жизнь: недаром исколесил страну с отцом вдоль и поперек.

Дальнейшая эпопея общеизвестна: бегство из одного города в другой, когда война закончилась и по боговдохновенному Ялтинскому соглашению начали выдавать бывших советских граждан на суд и расправу — доброму старому Джо. Затем — попал-таки в тюрьму, откуда могли в любую минуту выдать советским репатриационным офицерам. Каким-то чудом выкарабкался, организовывал всяческие побег владовцев и остовцев из лагерей смерти — репатриационных и тюремных, снабжал их сфабрикованными фальшивыми документами, доказывающими, что они — старые эмигранты. Затем, когда немного поутихло с репатриацией, организовывал антисоветские бюллетени, печатал на ротаторе книжки и журнал, наконец, вместе с несколькими уцелевшими владовскими офицерами, организовывал Боевой Союз Молодежи Народов России (БСМНР), переросший потом в Союз Борьбы за Освобождение Народов России (СБОНР) и, наконец, ЦОПЭ.

И писал, писал, писал. Писал юморески в «Сатирикон» и эмигрантский «Крокодил», писал статьи и сообщения, рассказы и сатирические сценки, повести и радиопередачи . . .

Женитьба, дети — все это никак не ослабило ни живости характера, ни писательской продуктивности.

Богдан был исключительно одаренным человеком: писал он много и легко, и только что стал вырабатывать свой, никому другому не свойственный пошиб. Его первая книга — «Телеграмма из Москвы» (1957), книга рассказов «Без социалистического реализма» (1961), фантастико-сатирическая повесть «Шуба», опубликованная в нью-йоркской газете «Новое Русское Слово» (1961) — это, собственно, только первые серьезные опыты: в авторе таилось много больше. Богдан прислушивался к голосу читателей, он не был глухим к деловой и дельной критике. И рос, как писатель, на глазах.

Первая книга его имела большой успех. Одна из журналисток писала мне о ней: «Вы с вашей академической сухостью и заумностью никогда не поймете прелести такого полнокровного, легкого и, по-своему, изящного остроумия, каждой фразой бьющего в цель; это все равно, если бы шкаф-мастодонт (это вы) взялся танцевать мазурку» . . . «Книга поистине замечательная, по-своему — гениальная» . . . Оценили книгу и сухой «Новый Журнал», и «белогвардейский» «Часовой», и более левая пресса, и «Новое Русское Слово».

Но это было только начало писательства. Как увлекательно и живо, талантливо рассказывал Богдан! Вот рассказывал он и о своем детстве, — и осколки рассказов его я и передаю вам, ослабленные ущербом памяти и невольным оглядом — не перевернуть бы! — пересказчика.

Солидная старая дама, в прошлом — видная общественная деятельница и литератор, публицистка и политическая фигура — внимательно прислушивается к нашей беседе: собрались бывшие власовцы, все бывшие «подсоветские»:

— Мы прощаем вам, — тихо говорит она, прерывая чью-то реплику: — отсутствие воспитанности, некоторая доля невежества — это, в общем, не ваша вина . . . И вы, советские люди, не можете быть полностью ответственными за все преступления советчины . . .

— Спасибо, — в тон бывшей политической деятельнице кротко и только неуловимо насмешливо отвечает Богдан: — спасибо: да, это, очевидно, мы, рожденные в восемнадцатом, бунтовали в пятом и шли под красными знаменами в семнадцатом: ну, что же, нас надо за это простить . . .

— И чего это ты пишешь стихи? — обращается как-то Богдан к достаточно популярному поэту: — ведь сейчас мало кому нужно такое вчерашнее пиликанье: если нет силы — не пиши стихов . . . И продолжает — уже словами Саши Черного:

Дама, качаясь на ветке,
Пикала: «Милые детки!
Солнышко чмокнуло кустик,
Птичка поправила бюстик
И, обнимая ромашку,
Кушает манную кашку...»

Стихотворец разъярен, а Богдан не смущается: он привык совершенно откровенно и без экивоков высказывать свои литературные мнения — и даже об общепризнанных высоких авторитетах, о которых в эмиграции и в Советах принято говорить только приглушенным лакейским тоном: как же-с, — нобелиат-с...

— Бора, выкини ты этот рассказец: дерьмо, — совершенно искренне и без тени враждебности советует он мне: мы постоянно читали друг другу написанное. Иногда я начинаю спорить, но часто соглашаюсь: Богдан обладал редким даром товарищества и дружелюбия — и никогда не руководствовался в оценках никакими косвенными соображениями.

Придет, бывало, веселый, большой, кровь с молоком — красивый богатырь. Иной раз что-нибудь притащит: то рыбу, то помидоры и огурцы из собственного города. Увлекающийся, он целиком отдавал себя очередному увлечению: если поедет ловить рыбу, то ловит ее до полного отчаяния жены и домашних: — Ну, куда ее девать! Все заволокли... — Если увлечется огородом, посадкой цветов — тоже до полной потери сил. — Ну, не хотите — понесу рыбешку Борису... Да и огурцов ему прихватчу... — И вот он не только принесет, но еще очень увлекательно расскажет про рыбалку, про то, как растут его огурцы — и как нужно насыпать в его огороде привозную почву: участок Богдана — сплошные галька и щебень...

Так же навалом, не отрываясь от стола часами, он писал и свои рассказы и повести. И начал совсем уже вырабатываться в заметную фигуру в небогатой — осо-

бенно юмором — русской сегодняшней прессе. Уже появились свои образы, свой язык, свои приемы построения. Первые литературные успехи, полным полно не только новых замыслов, но и почти доработанных повестей и рассказов — и вдруг эта нелепая, воистину наглая смерть.

Богдан умер в полном расцвете сил. Умер сорока трех лет. Умер, прожив богатую и впечатлениями и творчеством — хотя и короткую — жизнь. Да, буквально насыщенную творчеством. Ибо творчеством были его устные рассказы, творчеством были его незаконченные наброски, да немало осталось от него и законченных и почти что отделанных вещей.

Прекрасный товарищ, подлинный друг, — мне как-то не хочется писать о нем, как о писателе: слишком жив у меня в душе облик живого, близкого человека. Да и не укладывается он — этот облик — в канонические формы очерка: он не отошел еще, он еще слишком близок. И хотя это, написанное мною, и непропорционально — больше о деде, чем о Богдане, больше о детстве, чем о том Богдане, которого я знал; — хотя это все и не статья. и не очерк, — но мне хочется именно так помянуть друга: он обещал сам рассказать о своем детстве — и не успел: передаю то, что запомнил из его рассказов.

И, может статься, хорошо, что Богдан рисуется как человек чем-то бóльшим, чем уже осуществившийся писатель: в нем была всегда потенция — воля к возрастанию, к все большему прорастанию в жизнь и мастерство, к все большему одухотворению нашей бедной и вконец изманерничавшейся сегодняшней прозы.

Борис Филиппов
1961.

В СТОРОНЕ ОТ БОЛЬШОЙ ДОРОГИ

В Москве, Ленинграде, Киеве — в больших городах с миллионным населением — ее бы просто посчитали красивой женщиной. Здесь же, в деревне из семи дворов, затерявшейся в лесах и болотах, в восьмидесяти километрах от железной дороги, в пятидесяти километрах от шоссе — узенькой ленты петляющего асфальта — ее внешность не могла не вызвать удивления. Откуда в смоленской глуши могла взяться такая красавица? Откуда здесь, среди незамысловато скроенных невеселых людей, поющих заунывные, такие же, как и эта занесенная снегом местность, песни, взялись эти огненно рыжие волосы, зеленые, как глубокая морская вода, глаза и удивительный цвет лица — нежно розовый, как будто тонкую матовую кожу подогревал изнутри ровный и спокойный жар.

Когда она в овчинном полушубке, в шерстяном платке, сбившемся на плечи, вошла в избу вместе с клубами морозного пара, сержант Гавриленко, смешливый и неторопливый украинец, втянул кирпатым веснушчатым носом принесенный ею запах мороза.

— Цветок! — восхищенно проговорил он. — Ягода-баба! . . .

Она улыбнулась с какой-то хищной волчинкой розовыми сочными губами, прислонилась к косяку двери.

Изба была полна парашютистов. Измотанные ночным походом, промерзшие, исхлестанные колючим январьским ветром небесные пехотинцы спали. Все они были в белых маскировочных халатах поверх теплой меховой одежды. Некоторые спали, сидя на дощатой длинной скамейке вдоль стены. Человек пять лежали просто на полу, положив под головы автоматы. Бодр-

ствовали только сержант Гавриленко и лейтенант Коробов, немолодой уже человек с интеллигентным и совсем невоенным лицом. Они настраивали маленькую рацию, стоявшую на столе.

— Вы что, с фронта, или как? — осмотревшись спросила красавица мягким грудным голосом.

— Фронт отсюда далеко. Сейчас немцев отогнали от Москвы и бои идут где-то в районе Массальска...

Лейтенант Коробов говорил, вращая рычажок рации. Мешаясь с похрипыванием, ровным дыханием спящих, из лежащих на столе наушников неслись потрескивания, свист, отрывки мелодий и торопливая дробь морзянки.

— Мы самолетом, — не без гордости проговорил сержант.

Наконец, лейтенант нашел нужную волну, прижал к уху один наушник и, послушав немного, выключил рацию. Он сказал сержанту, что тот может спать. До времени их связи с Москвой было больше чем два часа.

— Как тут заснешь, когда такая ягодка глазками смотрит? — заигрывая, проговорил Гавриленко.

Она опять улыбнулась с волчинкой и, глядя, как лейтенант сворачивает из газетной бумаги цыгарку, попросила табаку. Получив немного табаку и несколько кусков нарезанной полосками газетной бумаги, она поблагодарила и ушла, тихо притворив за собой дверь, так, чтобы не разбудить уже успевшего заснуть сержанта.

Гавриленко вначале клевал носом, все еще продолжая улыбаться, потом глубоко вздохнул, положил голову на стол и лицо его стало серьезным, как будто он к чему-то прислушивался.

— Что это за бабенка? — спросил лейтенант Шуру, хозяйку избы, крестьянку неопределенного возраста.

Ей можно было дать и двадцать пять, и тридцать пять, и сорок лет. Лицо ее, усталое и помятое, виднелось под самым потолком на печи. Рядом с ней белели

две русые головки и голова рыжего теленка. Шура не ответила. Она апатично невидящими глазами смотрела в замерзшее окно.

— Рыжая-то пава откуда? — громче спросил Коробов.

— Чего?

— Говорю я, что это за бабец приходил?

— Ты об Аньке? Так это-же местная блядь. — Шура говорила без всякой злобы или осуждения, сказала так просто, словно назвала ведро ведром или потолок потолком. — Тут по всем деревням не было такого мужика, чтобы не спал с нею. Известная потаскуха.

— Да, бывает, — проговорил не то разочарованно, не то смущенно лейтенант и спросил: — Шура, чего ты теленка на печи держишь? Дети ведь там.

— Чего детям станется? . . . Теленок смирный — лишь бы они его не замали. В сарае он, кормилец, замерзнет. У нас завсегда так было: теленок зимой на печи, поросяенок — в подпечке, а у кого есть куры, так в избу пускают.

— Да, бывает . . . Почему же это она так?

— Чего?

— Я об этой Аньке спрашиваю.

— Анька? . . . Кто его знает, чего ее водит. Ровесницы мы с ней. Я уж давно и замужем побывала, и вдовой стала — на финскую моего погнажи и пропал, а она все перебирает. Поспит с кем ночь, другую, и носом вертит. Много к ней тут хороших мужиков сваталось, да не хочет она. Савельев тут такой во Вскодах — это там, где сейчас немцы стоят — видный такой был, на гармошке играл, заведующим сельпом был, — и над тем насмеялась. Подвела его под монастырь и насмеялась. Ты, говорит, нужен мне был только до большого города, а теперь я смеюсь тебе в глаза. Засудили его на десять лет. Хороший человек был, видный, в кожаном пальте, при портфеле . . .

— За что же ему десятку дали?

Шура почесала черным заскóрузлым пальцем у себя в голове.

— Известно за что. Цапнул целую тыщу казенных денег и побежали с Анькой на Угру, на станцию, хотели у самый Смоленск махнуть. На станции их и поймали. Савельев, конечно, всю вину на себя. Анька потом и насмеялась. Бездушная она. Говорит, я еще десяток таких, как ты, загублю, а в колхозе свинаркой не буду. В городе Смоленске буду жить, в кино и театры буду каждый день ходить, — Шура опять почесала пальцем у себя в волосах. — Вот пройдет война и не будет колхозов, — произнесла она без всякой связи с прежним разговором. — Немцы во Всходах так говорят. Говорят, колхозам капут. Оно и правильно. Жизнь с колхозом невозможная. По сто грамм припадает на трудодень ржи, а выработывала я в году по двести трудодней. Как тут жить с двумя детьми? Одну картошку едим, и той не хватает. Немцы правильно говорят, что колхозам капут.

— Немцев мы скоро выгоним, — уверенно вставил лейтенант Коробов.

— Их и надо гнать, — охотно согласилась крестьянка, много они пленных замучали. В Дорогобуже, говорят, восемнадцать тысяч пленных — кого убили, кого голодом сморили. А все же насчет колхозов они правильно указывают. Вот у Аньки лежит лейтенант, он тоже так говорит.

— Какой лейтенант? — удивленно вскинул брови Коробов.

— Раненый он. У него ноги совсем отгнивают. Сходите, может чего ему поможете.

Коробов с медицинской сумкой на плече шел против ветра, нагнув голову и утопая по колена в снегу. С поля дул пронзительный ветер, неся с собой обжигающие лицо снежинки.

На стук в дверь долго не было ответа. Потом дверь со скрипом отворилась, в лицо Коробову ударил тошно-

творный запах гниющего человеческого тела, и на пороге появилась Анна, босая, в широкой юбке из грубого материала и в кофточке из дешевенького ситца с цветочным бескусным узором.

— Чего вам? — недружелюбно спросила она и поправила обеими руками свои рыжие растрепанные волосы. При этом высокая полная грудь ее качалась под легкой материей с каждым движением сильных рук.

Коробов сказал, что он хочет посмотреть раненого, и она его неохотно после минутного молчанияпустила.

Когда дверь, затворившись, отрезала ветер, от тяжелого гниющего смрада у Коробова захватило дыхание. И чувствуя подступающую к горлу тошноту, он поспешно свернул цыгарку, глубоко затянулся едким махорочным дымом.

Здесь было почти темно и жарко натоплено. Окна были покрыты толстым слоем узорчатого льда. Лед пропускал слабый, какой-то совсем неживой свет, словно изба находилась глубоко под водой.

Раненый, с бескровным истрадавшимся лицом, лежал на кровати и молча смотрел на Коробова большими черными настороженными глазами.

Коробов поздоровался и сел у кровати на табурет. Анна села на кровать и заботливо поправила раненому подушку. Продолжая давиться дымом, Коробов сказал, что хотя он и не доктор, но перевязать и промыть раны может.

— Сами знаете, война, приходилось и себе и другим перевязывать, — говорил он.

Раненый вопросительно посмотрел на Анну. Та забеспокоилась, еще раз поправила подушку, погладила раненого по голове.

— Боль же страшная промывать, — проговорила она.

— Что сделаешь? Так нужно.

И тогда заговорил раненый. Он стал расспрашивать о положении на фронте, о том, где Коробову приходилось воевать. Рассказал он и о себе. Звали его Николай

Петрикин. До Финской войны он учился в московской консерватории. Потом послали на фронт. После Финской заставили пойти в военное училище. Ранили его во время боев на Соловьевой переправе недалеко от Дорогобужа.

— Осколки мины совсем в клочья порвали обе ноги, — говорил Петрикин, — и случилось это как раз, когда немцы прорвались. Меня вначале везли на санитарной машине, потом на дороге появились немецкие танки. Санитары разбежались. Я еле успел уползти из машины в кусты. В машине осталось еще двое раненых, и они сгорели. Танк, проезжая мимо, поджег машину пулеметной очередью. Два дня я полз подальше от дороги и прополз за два дня может быть километра три. Потом Аня меня нашла. Пять дней на себе несла. Она у меня молодец.

Он прижал ее руку ладонью к своей щеке, и она просияла от радости нежной женственной улыбкой.

В сознании Коробова как-то не вязалось все то грязное, что он слышал о ней. Он подумал: «Наговорила потому, что сама некрасивая», и спросил:

— Послушайте, Аня, вы что, до войны были замужем?

Она посмотрела на Коробова с удивлением:

— Я замужем? Да я же известная здесь гулящая девка. У меня мужиков было больше сотни, а может и две сотни, — проговорила она без всякой тени смущения.

Заметив, как неудобно заерзал Коробов на табурете, она добавила:

— Коля все знает. Чего скрывать? Что было, то было.

В избе на минуту воцарилось молчание. А потом Петрикин, бодрясь, сказал:

— Сколько бабушка ни охает, а помирать приходится. Давайте, распоряжайтесь моими ногами.

Ноги Петрикина были почерневшие, распухшие. Рваные раны на них сочились гноем. Местами, там, где раны были расположены очень близко друг к другу, тело начало отмирать. Лейтенант Коробов, уже привыкший к смраду в избе, сейчас опять почувствовал, что тошнота подступает к горлу.

Петрикин все переносил, не проронив ни одного сто-на, и только жадно курил. Но Анна была смертельно бледна, болезненно перекивилась.

— Потихоньку, — стонала она, — больно ведь. С ума сойти можно! Ах, лучше бы все это у меня было. Легче было бы переносить мне . . .

Она металась, пытаясь чем-нибудь помочь раненому, и только мешала Коробову. В ней было что-то от кошки, от собаки, от любящей самки, видящей боль своего детеныша.

Ночью парашютисты тронулись в путь. Луна еще не взошла и впереди виднелась только бесконечная се-рая муть. Когда они поравнялись с крайней избой, лей-тенант Коробов махнул лыжной палкой, чтобы все шли дальше, а сам свернул к избе. Он проехал мимо слепых темных окон и положил у порога пакетик. Там было немного табаку и медикаментов — все, что он мог ос-тавить раненому. У Коробова не было ни обоза, ни за-пасов. На сотни километров вокруг были только немцы. А они, двенадцать советских разведчиков, прятались днями в глухих деревнях и двигались, ведя разведку, только ночью.

Парашютисты уже растворились белыми халатами в морозной мути. Коробов бежал на лыжах за ними вдогонку. Скрипел снег. Где-то далеко в стороне слы-шался заунывный волчий вой, надрывный и протяж-ный, как сама лесная звериная тоска.

*

Когда стаял снег и на столбовых дорогах, там, где осенью немцы гнали бесчисленные колонны военно-пленных, находили сотни трупов расстрелянных, Ко-

робов опять попал в эту деревушку из семи дворов. Его группа поредела. Кто напоролся на мину, кого скошил пулемет, их осталось всего пять из двенадцати. Но теперь здесь, в районе, где осенью сорок первого года почти без боя сдались в плен пять советских армий, от Дорогобужа на восток и самой Вязьме, километров на сто с Севера на Юг, не осталось больше ни одного живого немца. Это была так называемая «Малая Земля», — территория в глубоком немецком тылу, расчищенная парашютистами, партизанами из бывших военнопленных и гвардейскими кавалеристами генерала Белова, прорвавшимися через фронт в конце января этого сорок второго года.

Развед-группа Коробова въехала в деревню днем на крестьянской телеге. Деревня была переполнена гвардейцами. Около хат стояли оседланные лошади, тачанки с тупорылыми пулеметами. На одной тачанке сидел кавалерист и лихо наяривал на баяне, не жалея мехов. А около него, разбрызгивая весеннюю грязь, бряцая шпорами, отплясывали чертями два гвардейца с гиканьем и присвистом. Вокруг них толпились военные, стояли, пригорюнившись, подперев по-крестьянски щеки, женщины. Стояла тут с детишками и Шура. Коробов искал среди толпы глазами рыжую Анну. Но ее здесь не было. И когда он, поздоровавшись с Шурой, собирался уже спросить об Анне, он увидел ее. Анна несла на руках, прижимая к себе, Петрикина. Коробов вначале даже не сообразил, почему Петрикин такой маленький, словно пакет, и только потом понял, что у него отрезаны по самое туловище обе ноги.

Лейтенант Коробов, радостно растопырив руки, побежал навстречу Анне, хотел подхватить у нее безногого, но она еще сильнее прижала к себе худенький обрубок с поседевшей головой и черными смеющимися молодыми глазами.

К ним подошел сержант Гавриленко и возбужденно потянул воздух кирпатым веснущатым носом:

— Цветок! Совсем расцвела по весне! Эх, в глазах звездочки светятся! . .

Анна улыбнулась ему хорошей мягкой улыбкой и, прижав к своей щеке щеку калеки, два раза качнула его, как ребенка.

Парашютисты остановились у Анны. Здесь уже было человек десять кавалеристов. Целый день до вечера рыжая красавица не спускала Петрикина с рук. Когда уставала, садилась и держала его на коленях. Играла с его седеющими космами, глядя их, накручивая их кольцами на свои пальцы. Он смотрел только на нее, она — на него. Они никого не замечали вокруг, даже Коробов отвлек их внимание на короткое время, потом они опять жили только собой.

Перед вечером, повязав свои рыжие волосы косынкой, Анна подхватила одной рукой ведро с водой, а другой, поддерживая худенькое тело калеки, понесла его во двор умываться. И тогда пожилой усатый кавалерист, видимо из тех, кто побывал и на Первой мировой войне и на гражданской, хлебнул горя на Финской и продолжает тянуть солдатскую лямку сейчас, сказал с мягкостью человека, повидавшего на своем веку много горя:

— Это может, как говорится, тронуть за самое сердце.

От этих простых слов лейтенант Коробов внезапно почувствовал, как у него судорожно сжалось горло. Сдерживая себя, он поспешно вышел на улицу и, еле успев завернуть за угол избы, прыснул, словно прорвался от долго сдерживаемого смеха. Из глаз брызнули слезы.

— И чего ты, старый дурак, плачешь? — уговаривал он себя, судорожно всхлипывая. — Не реви! Увидят, стыдно будет.

А когда из-за угла избы, ничего не видя, вышел плачущий старый кавалерист, Коробов хотел было бежать, но потом махнул безнадежно рукой. Обняв за плечи ка-

валериста, Коробов повел его к кустам раkitника. Там они, не договариваясь, спрятались за кусты совсем, как мальчишки, играющие в прятки, и, сидя один против другого на корточках, долго и молча плакали, изредка улыбаясь один другому сквозь слезы.

— Нервы, как тряпки, — говорил, оправдываясь, кавалерист, — в Гражданку контузило, в Буденовской армии был. В двадцать девятом на Соловки, как кулак, попал. Потом голод, еще какая-то чертовщина. Жизнь собачья, товарищ лейтенант.

— У всех нервы, — успокаивал Коробов, — всем досталось, врагу того не пожелаешь . . .

Уже совсем в темноте кавалерист и лейтенант вернулись в избу. Перед тем, как открыть двери, они крепко и молча пожали друг другу руки.

Ночью Коробов никак не мог уснуть. Когда усталость брала свое, он забывался на короткие миги и опять открывал глаза, пяля их в темноту. Мысли обрывками витали у него в голове. Ярko вспоминались какие-то совершенно незначительные эпизоды. Вспомнилось, как он еще студентом грузил дрова на станции, чтобы заработать на жизнь. Вспомнилось, как в тридцать третьем году к ним из деревни приехала опухшая от голода сестра отца, и как он простаивал в очередях по пять-шесть часов, чтобы купить ей хлеба. Она потом повезла хлеб в деревню, где у нее голодали дети. Вспомнилось и многое другое, уже давно забытое и ненужное. Коробов очень хотел припомнить лицо жены и никак не мог. Опухшую тетку видел ясно, а вот образ жены не мог себе ясно представить. Начиная как бы глохнуть от сонливости, думал он и о своих детях, четырнадцатилетнем Вове и черной, похожей на мать, десятилетней Кате.

Где-то на деревне прокричал петух. Темнота напозла на Коробова и когда слегка прояснилось, он увидел себя в партере Большого театра. Кругом в полутьме красный бархат кресел, тускло поблескивает золото от-

делки лож, под потолком как усыпанное бриллиантовыми звездами небо мерцает, отражая свет со сцены, огромная хрустальная люстра. И вот на сцену выходит артистка. Она высокая с плотным и гибким станом, на ее голове небольшая диадема. Где ее Коробов раньше видел? Он напряг память и проснулся. «Это она мне приснилась», — отчетливо подумал он. В окно сочился бледно-голубой свет. Слышалось дыхание спящих солдат. Кто-то во сне похрапывал. Один, видимо кавалерист, сонно пробормотал: «Пулемет . . . молчишь? . . . Эх, пулеметчика! . . .» И умолк, горестно вздохнув. В стенах между бревнами сильнее трещали сверчки. Коробов закрыл глаза, сился уснуть, и когда сонливость стала одолевать им, он услышал вальс Шопена. Это тихо пел безногий Петрикин. Он окончил, и Анна шопотом спросила:

— В Художественном театре тоже хрустальная люстра?

— Да, не такая большая. Там прекрасно ставят «Чайку» Чехова, «Вишневый сад» . . .

— Как это, наверное, хорошо, — шепнула Анна, — живут же люди!

— Хочешь, я содержание «Чайки» расскажу?

Рассказывал Петрикин с увлечением, очень красочно. Потом Коробов опять забылся, и когда проснулся, в избе было темно — луна, наверное, спряталась за тучи. Оттуда, где лежали Петрикин и Анна, слышались неразборчивые отрывистые фразы, произносимые уже жарким срывающимся шопотом. Затем послышалась возня и сдавленные стоны Анны. Это были стоны боли. Коробов понял, что она опять, как и тогда, зимой, страдает за Петрикина и чувствует боль за него. Минут через десять там все стихло. А потом Анна внятно прошептала:

— Коля, жизненочек, расскажи еще что-нибудь про Москву.

Лейтенант Коробов, стараясь ровно по-сонному дышать, слушал о хорошо знакомом и близком.

Утром парашютисты, разместившись на подводе, уезжали из деревни. Анна, держа на руках обрубок Петрикина, стояла в дверях. И когда телега отъехала, она ловко, коленом поддержала Петрикина — так делают крестьянки, поправляя на руках детей, — и, освободив одну руку, прощально помахала. Петрикин обнял ее за шею одной рукой, а второй отдал честь отъезжающим.

В третий раз Коробов, уже старший лейтенант, попал в эту затерянную среди болот и лесов деревню в июне. Вокруг «Малой Земли» шли горячие бои. Немцы всерьез взялись за ликвидацию стотысячной группировки Белова у себя в глубоком тылу, группировки, которая, придя в движение и поддержанная с воздуха авиацией, могла отрезать почти весь средний участок немецкого Восточного фронта. По сухим дорогам пошли в наступление немецкие танки, мото-пехота. Немецкая авиация неистово атаковала, бомбила места скопления русских войск. Дорогобуж пал. Беловцы, сдерживая натиск вражеских сил, откатывались на Восток, намереваясь прорвать фронт где-то в районе Клина и выйти на «Большую Землю».

Вначале отступление шло нормально. Но Коробов ходил в разведку под самый фронт и видел, что немцы накапливают там большие силы, чтобы зажать отступающих с двух сторон, чтобы заставить отступающих и отбиваться с тыла, с флангов и пробивать себе каждый шаг вперед. Советские же части на фронте не предпринимали никаких попыток, чтобы отвлечь немцев от нажима на группировку Белова.

По «Малой Земле» ползли слухи, что сам Сталин остался недоволен тем, что у оторванных от фронта беловцев, появились анархические и даже антисоветские настроения, и поэтому, мол, Сталин решил отдать всю группу Белова на разгром немцам. Слухи эти имели под

собой почву. Среди беловцев действительно чуть ли не открыто поругивали Сталина — положение на фронте немыслимое. Сам генерал Белов запретил присланным с «Большой Земли» на самолетах партийным работникам восстановить распущенные немцами колхозы. Были случаи, когда простые парашютисты или кавалеристы били крупных партийных работников, если те пытались арестовывать крестьян, работавших когда-то у немцев на кухне, или тех, у кого останавливались на постой немцы. Слухи об умышленном отдании беловцев на разгром действовали деморализующе. Отступление постепенно приобретало панические формы. А паника умножалась рассказами бывших военнопленных об ужасах немецкого плена.

Когда Коробов и Гавриленко с новой группой разведчиков в двадцать человек пришли в эту деревню, по пыльной улице поспешно двигались подразделения парашютистов, потом какие-то партизаны в гражданской одежде, скакали кавалеристы кучками по десять-двенадцать всадников. Стояла полная неразбериха и хаос. Сам Коробов вел свою разведгруппу, не зная, где штаб Белова, не имея никакого приказа, что делать и куда идти. Все двигались, устремляясь за главным течением, и никто не знал, куда они идут и что будет дальше.

В этой маленькой деревне были тоже видны следы бомбежек. Повсюду виднелись воронки. Валялись убитые лошади. Несколько изб было разрушено и на месте их остались только печные прокопченные трубы. Изба Шуры уцелела. Коробов, покрытый слоем пыли, с автоматом на груди, с воспаленными глазами, зашел в нее, и Шура, увидав его, радостно и мелко закрестилась.

— Слава Богу, а я-то думала, что вас уже нет в живых.

— Это хорошо, — устало улыбнулся Коробов, — есть такое солдатское поверье: кого считают убитым, тот будет жить. Впрочем, кто знает, как долго?

— А знаете, наша Анька его-то убила, — просто-душно проговорила Шура.

— Кого убила? — непонимающе переспросил Коробов.

— Анька. Вы не помните? — удивилась Шура. — Анька-потаскуха убила Колю безногого. Как пришли его забирать, вакуировать, значит, на самолете, она плакала, не отдавала. Он тоже плакал, не хотел. Комиссарик, что вакуировал раненых — их у нас набралось человек пятнадцать — говорит: есть такой приказ — врагу не оставлять. Ну, безногого Колю, конечно, силой забрали у Аньки. Понесли в повозку. Анька совсем сошла с ума, сбесилась. На коленях по пыли за комиссаром ползла, о землю грудью билась. Потом, когда раненых повезли, бросилась она, горемычная, в избу, схватила топор, подбежала к повозке и его по голове. Он еще долго хрипел, а она его на руках качала. Уже три дня как мертвый, а она его у себя все держит.

— И ей ничего не было? — спросил растерянно сержант Гавриленко.

— А чего ей сделаешь? — проговорила Шура. — Если бы попался другой, ее может и застрелил, но тот комиссарик сам испугался. Страшная Анька была, глаза, как угли. Он говорит: — мне приказ, военных врагу не оставлять в живых, а он теперь мертвый, мое дело кончено. Я не суд, чтобы судить.

С тяжелым чувством, минутами не веря в случившееся, не понимая, зачем это он делает, Коробов, взяв Гавриленко, пошел к Анне. Они шли по улице, обгоняя какой-то обозик из десятка отобранных у местных жителей крестьянских подвод. Гавриленко, еле успевая за Коробовым, запыхавшись говорил:

— Озверел народ. Подумать только! Все это война.

— Не в войне дело, — за все время только и сказал Коробов.

У двери сержант нерешительно затоптался. Коробов один шагнул в избу.

Здесь не было дневного света, окна были завешены.

«А что, если она совсем сошла с ума?» — подумал Коробов, слабо еще различая в полутьме окаменевшую фигуру женщины в той стороне, где стояла кровать. Он инстинктивно положил руки на автомат и остановился в двух шагах от порога. Анна еще долго продолжала неподвижно сидеть, а потом повернула к Коробову высушенное лицо с плотно сжатыми губами и неподвижным взором холодных, как ледяшки, глаз. Она длинно посмотрела на старшего лейтенанта, видимо, стараясь что-то сообразить.

— Так для Коли лучше, — просто и словно бы продолжая разговор, проговорила она.

— Сколько их там беспризорных калек мучается. Что бы Коля без меня там делал?

Коробов, так, чтобы не заметила Анна, снял руки с автомата. Петрикин лежал на кровати, укрытый олеялом, и было видно только его заострившийся подбородок и нос, голова утопала в подушке. Ну что Коробов мог ответить ей?

— Вот оно и кончилось, — уже глухим голосом проговорила Анна, — дальше ничего не будет ни у Коли, ни у меня.

Она отвернулась от Коробова и опять окаменела, глядя в лицо покойника.

— Может вам помочь? — спросил Коробов. Слово «похоронить» он не мог произнести.

— Не надо, — почти с ненавистью проговорила она, не поворачиваясь, — сколько мне осталось на него смотреть? Сколько мне надо потом жить, не видя его? — у нее заклокотало в груди. — Это же страшная мука! Вы понимаете, или у вас нет души?! — она переборола себя и попросила: — Не надо здесь быть. Вы добрый человек. Пожалуйста!..

Коробов молча вышел. Потом вернулся. Не глядя на Анну, на покойника, он положил на стол кусок варе-

ной без соли конины. У него не было ни хлеба, ни соли. Он уже три дня ничего не курил.

Парашютисты шли весь день. Ночью в той стороне, куда они шли, в темном небе стали взлетать разноцветные ракеты: красные, зеленые, белые. Потом темноту разорвало несколько беззвучных вспышек. И когда цветные нити трассирующих пуль побежали, скрещаясь, встречаясь, до парашютистов докатились отдаленные глухие взрывы. Там, далеко впереди, была большая дорога уже занятая немцами. И там стихийно, без всякой команды, небольшие группы беловцев сбивали немцев с дороги, прорываясь на Восток к Фронту.

Скоро в стороне большой дороги разгорелось пламя. Может, это загорелась деревня, может, горели танки. Зарево медленно напозло на темноту и вот уже половину неба охватил кровавый багрянец.

Коробов теперь ясно видел силуэты идущих впереди солдат. Сзади, за его группой, громыхало какое-то одинокое орудие. Затем, обгоняя парашютистов, на рысях, бряцая оружием, проехало с полсотни всадников. Кони возбужденно фыркали.

Коробов еще долго, без всякой мысли, вспоминая то заострившийся подбородок Петрикина, то страшное в своем спокойствии лицо Анны, переставлял гудевшие от усталости ноги. Потом его начала охватывать дремота. Он шел, засыпая, спотыкался, его тянуло в сторону, он открывал глаза, возвращался на середину дороги, и опять глаза его смыкались. Он двигался по кривой, зигзагами, сталкиваясь иногда с тоже пошатывавшимся Гавриленко. И в эти сладкие мгновения походного солдатского сна иногда казалось ему, что он идет в толпе по ярко освещенным московским улицам, мимо больших домов, зеркальных витрин магазинов. Его тянуло куда-то вниз, и казалось ему, что это он спускается на бесшумном экскаваторе в сверкающий бронзой и розовым мрамором подземный зал метро. Чувствуя, что он падает, он открывал глаза и видел впереди толь-

ко тревожное пламя и зарево над головой. А когда обращивался назад, туда, где осталась Анна, мертвый Петрикин, бедная вдова Шура, белоголовые детишки, там была темнота без единого просвета. И опять, засыпая, казалось Коробову, что там сзади осталась Россия, а все эти большие красивые дома, поблескивающий гладью мрамор метро, красный бархат и золото Большого театра он видел только во сне или на пропагандном плакате. А по временам усталый мозг пустел, Коробов только бессмысленно повторял: «Дальше ничего не будет ни у Коли, ни у меня», — и ступал, как заводной, ощущая сосущее желание затянуться табачным дымом. Где-то в стороне, словно дятел, медленно, с перерывами, застучал крупно-калиберный пулемет.
